
Пекарня
в Чухломе
Кот, который ждал
Хлеб
Выпечка
Лён
Истории

Милана Панова

Пекарня в Чухломе. Кот, который ждал

«Автор»
2026

Панова М.

Пекарня в Чухломе. Кот, который ждал / М. Панова — «Автор», 2026

Ася Кружилина, тридцать четыре года, Петербург. Её льняной бренд задушили подделки и маркетплейс, на складе — шестьсот двенадцать никому не нужных платьев. Разбирая комнату умершей бабушки, Ася находит жестяную коробку с письмами прабабки Поли. Шестьдесят четыре года писем — и ни одно не отправлено. Адрес на каждом: «Батону. В Чухлому. В пекарню Лаптева. В собственные лапы».Ася едет в маленький город на берегу озера, где в старой пекарне живёт рыжий кот. Ему больше ста двадцати лет. Он говорит. И всю жизнь ждёт девочку, которая когда-то вытащила его из дежи с закваской и пообещала вернуться.Каждый вечер Ася читает коту письма — о голоде, войне, блокаде и одном поезде, в который так никто и не сел. А днём учится прясть лён, спорит с бывшим телеблогером и вспоминает, каково это — делать вещи для людей, а не для продаж.Тёплая история о доме, прощении и о том, что ждать не страшно, если знаешь: тебя помнят. Книгу можно читать отдельно от других частей.

© Панова М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Жестяная коробка 6
Глава 2. Поля? 11
Глава 3. Та, что в деже 15
Глава 4. Холсты 19
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Милана Панова
Пекарня в Чухломе. Кот, который ждал

Пекарня в Чухломе

Часть третья

Кот, который ждал

Глава 1. Жестяная коробка

В половине четвёртого утра, в гаражном боксе номер сорок семь на задворках Васильевского острова, Ася Кружилина сидела на рулоне некрашеного льна и считала платья.

Считать их не было никакого смысла. Она знала цифру наизусть: шестьсот двенадцать. Шестьсот двенадцать льняных платьев на вешалках-рейлах, в пыльных чехлах, рядами, как солдаты, которых забыли распустить по домам после войны. Платье-рубашка «Ладога». Платье с запахом «Охта». Сарафан «Белая ночь» в трёх цветах: молочный, песочный, «мокрый асфальт». Ася придумывала эти названия два года назад, сидя на подоконнике с чаем, и они казались ей тогда очень питерскими и очень красивыми.

Теперь они казались ей названиями станций, на которых поезд уже не останавливается.

Телефон лежал рядом на рулоне экраном вниз. Ася перевернула его, хотя обещала себе не переворачивать до утра.

Уведомление от маркетплейса висело всё то же. Вежливое, как приговор, который зачитывает робот:

«Уважаемый продавец! По результатам проверки карточки товаров бренда "Кудель" понижены в выдаче в связи с жалобами покупателей на несоответствие описанию. Начислен штраф. Подробности — в личном кабинете».

Жалобы покупателей на несоответствие были правдой. Только покупали они не её платья.

Ася открыла поиск и в сотый раз за неделю набрала «платье лён Кудель». Первые сорок позиций занимал магазин под названием «KUDEL-STYLE». Её фотографии. Её «Ладога» — та самая, которую она снимала в августе на Смоленском кладбище среди старых лип, на подруге Лере. Только Леры на снимках уже не было. Вместо Леры в платье стояла длинноногая девушка с безупречной кожей, какие не встречаются в природе, а только в нейросетях: лицо чуть-чуть плывёт, пальцев на левой руке шесть. Цена — тысяча девятьсот девяносто рублей. Ася продавала «Ладогу» за шесть восемьсот, и это было почти себе в убыток.

Отзывы под подделкой она знала тоже наизусть.

«Ткань как наждачка, через неделю села на два размера».

«Пахнет химией. Лён? Не смешите».

«Обман. Не берите этот "Кудель", одно название».

Это последнее Ася однажды прочитала вслух, сидя вот так же в боксе, и засмеялась, и смеялась так долго, что сторож дядя Рафик постучал в ворота и спросил, всё ли в порядке.

Всё было не в порядке. Всё было в полном и окончательном беспорядке, и порядок не предвиделся.

Два года назад у неё был маленький честный бизнес. Она шила сама, на старой промышленной машинке, которую купила с рук у закрывшегося ателье. Потом наняла двух швей — Галину Андреевну с соседней линии и студентку Дашу. Потом вышла на маркетплейс, потому что «все выходят». Потом взяла кредит на ткань, потому что маркетплейс требовал объёмов. Потом пришёл блогер-миллионник — модная девушка с голосом, как у стюардессы, — и сделала обзор на её «Охту». Обзор посмотрели два миллиона человек. Через месяц на маркетплейсе появился «KUDEL-STYLE». А через три месяца та же модная девушка сделала обзор на подделку. Со словами «нашла дешевле, ничем не хуже».

Ася ей написала. Девушка не ответила. Ася написала маркетплейсу. Маркетплейс ответил, что «товарный знак "Кудель" не зарегистрирован, претензия не может быть удовлетворена». Ася пошла регистрировать знак. Ей сказали — месяцев девять. Ася посчитала, сколько она за девять месяцев заплатит по кредиту, и перестала считать.

Галину Андреевну и Дашу она отпустила в ноябре. Галина Андреевна плакала, а Даша сказала: «Ась, ты только не сломайся». Ася сказала, что не сломается.

В ноябре же умерла бабушка.

Ася выключила телефон, положила его в карман пуховика и встала. Колени хрустнули. В боксе было холодно — январь, минус девять, отопления тут не полагалось. Изо рта шёл пар.

Она прошла вдоль рейлов, трогая рукава. Лён был хороший. Белорусский, с Оршанского комбината, плотный, честный, мягкий после стирки. Она гладила его ладонью, как гладят собаку, которую придётся отдать.

Над воротами висел старый календарь от шиномонтажа. Январь. Тринадцатое число было обведено красным маркером. Её рукой. «Сдать бабушкину комнату. Ключи — маме».

Тринадцатое было сегодня.

* * *

Бабушкина комната была на Девятой линии, в коммуналке на четвёртом этаже, где бабушка Лида прожила сорок восемь лет и умерла, как она и хотела, во сне, в своей постели, под тиканье часов с кукушкой, у которой кукушка отвалилась ещё при Брежневе.

Мама комнату продавала. Мама сказала об этом на поминках, на девятый день, между кутьёй и пирогом с капустой, — твёрдо, как говорят о вещах решённых: «Покупатель есть. Соседи берут, Мельниковы, им для сына. Деньги поделим. Тебе твоя половина кредит закрыть хватит, и ещё останется».

Ася тогда ничего не сказала. Она вообще за последние полгода разучилась спорить с мамой. Раньше умела — с четырнадцати лет, профессионально, с хлопаньем дверьми. Теперь каждый мамин звонок начинался со слов «я же тебе говорила», и Ася просто молчала в трубку, пока мама не уставала.

«Я же тебе говорила, что тряпки — это несерьёзно».

«Я же тебе говорила, найди нормальную работу».

«Я же тебе говорила, Ася, тебе тридцать четыре года».

Мама работала главным бухгалтером в управляющей компании в Купчине и считала, что у всего на свете должна быть отчётность. У Асиной жизни отчётности не было. Были шестьсот двенадцать платьев и минус на карте.

Ася поднялась по лестнице пешком — лифт в этом доме не работал, кажется, с тех же брежневских времён, что и кукушка. Открыла дверь своим ключом. В коридоре пахло соседскими котлетами, хлоркой и чем-то ещё, бабушкиным, — сухими травами, ванилью, нафталином. Этот запах ещё жил в комнате, но уже выветривался. Ася это чувствовала. С каждым днём его оставалось меньше.

Комната была почти пустая. Мама вывезла мебель в субботу — что-то на дачу, что-то на помойку. Остались часы без кукушки, бабушкина швейная машинка «Зингер» в деревянном чехле — тяжёлая, ручная, с золотыми вензелями, которую никто не хотел брать, потому что «кому сейчас нужна эта бандура», — и три коробки на подоконнике, подписанные маминым почерком: «Асе посмотреть».

Ася села на пол, спиной к батарее. Батарея была горячая — хоть что-то в этом мире работало как надо.

В первой коробке были пуговицы. Бабушка собирала пуговицы всю жизнь — срезала со старых пальто, с выброшенных рубашек, с вещей, которые находила на скамейках, — и хранила в банках из-под кофе, рассортированные по цвету. Ася в детстве часами пересыпала их из банки в банку, а бабушка сидела за «Зингером» и строчила, и машинка стрекотала, как кузнечик, а бабушка рассказывала. Про всё на свете. Про то, как в войну мама её, Нина, ещё девочкой, пуговицы на хлеб меняла. Про то, как прабабка Поля шила платья самой Вере Холодной. «Ну, может, и не самой, — добавляла бабушка, — но Поля так говорила, а Поля врать не любила».

Во второй коробке были выкройки. Пожелтевшие, из журнала «Работница», с бабушкиными пометками карандашом.

Третья коробка была тяжелее. Ася сняла крышку.

Сверху лежало полотенце. Льняное, узкое и длинное, серое от старости, но плотное, домотканое, — Ася это поняла сразу, пальцами, она двенадцать лет щупала ткани и могла отличить фабричный лён от ручного с закрытыми глазами. По краям полотенца шла вышивка. Красной нитью, мелким крестом. Колосья — ржаные, с длинными остями. Сноп, перевязанный посередине. А в центре — две буквы, вышитые чуть крупнее и чуть неровнее, как будто вышивальщица торопилась или волновалась: «С.Л.».

Под полотенцем лежала жестяная коробка. Старинная, из-под леденцов «Монпансье», с облезлой картинкой: девочка в капоре держит на руках белого котёнка. Крышка поддалась не сразу.

Внутри были письма.

Много. Ася сначала подумала — сотня. Потом поняла, что меньше, но всё равно много: несколько десятков листков разного размера, разной бумаги, сложенных пополам и вчетверо, перевязанных льняной ниткой в аккуратные пачки. Ни одного конверта. Ни одной марки. Ни одного штемпеля.

Ни одно из этих писем никогда никуда не отправлялось.

На самом верхнем листке, на сгибе, чернилами — выцветшими до цвета слабого чая — было написано адресом, как пишут на конвертах:

«Батону. Въ Чухлому Костромской губ. Въ пекарню Лаптева. Въ собственныя лапы».

Ася перечитала это три раза.

Потом засмеялась — коротко, растерянно — и сразу перестала, потому что в пустой комнате смех прозвучал странно.

Батону. В собственные лапы.

Под пачками писем, на дне коробки, лежала фотография. Маленькая, на толстом картоне с золотым обрезом, коричневая от времени. На ней девочка лет пятнадцати, в тёмном платье с белым воротничком, с косой через плечо, держала на руках котёнка. Котёнок был мокрый — это было видно даже на старой фотографии: шерсть слиплась сосульками, уши прижаты, вид самый несчастный. А девочка смеялась. Широко, во весь рот, совсем не так, как полагалось смеяться на фотографиях в те времена.

На обороте карандашом: «Поля и Батонъ. Невскій, у Филиппова. 1908».

И ещё одна записка, совсем новая, на листке из блокнота в клеточку. Бабушкин почерк — круглый, учительский, с завитушкой на «д». Ася узнала бы его где угодно.

«Асенька. Это прабабки Полины письма. Она их всю жизнь писала, каждый год, да так ни одного и не отправила. И в Чухлому эту всю жизнь собиралась, да так и не поехала. Мама моя, Нина, тоже собиралась. И я собиралась. Все мы, видно, такие, нерешительные. Ты одна у нас решительная, вся в Полю. Если когда совсем плохо станет — съезди. Отвези ему. Он поймёт. Твоя бабушка Л.».

Ася сидела на полу у горячей батареи и держала записку в руках.

«Если когда совсем плохо станет».

Бабушка написала это — Ася посмотрела на ручку, на чернила, на то, как дрожат последние буквы, — совсем недавно. Наверное, осенью. Когда уже знала.

Когда совсем плохо станет.

Ася достала телефон. Включила. Он тут же пискнул — новое уведомление от маркетплейса. Она не стала его открывать. Набрала в поиске: «Чухлома пекарня Лаптева».

Поиск выдал сразу много. Видео. Статьи. Фотографии. «Чудо-пекарня в Чухломе: хлеб, который мирит». «Скандал на ярмарке: известный блогер оказался деревенским». «Хлеб не убежит: как бывшая московская повариха возродила пекарню прапрадеда». Миллионы просмотров. Ася слышала про это краем уха года три назад — все слышали, это было как эпи-

демия, полстраны тогда поехало в какую-то глушь за чудесным хлебом. Ася не поехала. Ася тогда как раз запускала «Охту» и не спала ночами.

Она открыла первую попавшуюся фотографию.

Старое кирпичное здание с полукруглыми окнами. Над крыльцом — вывеска с ятями: «ХЛѢБОПЕКАРНЯ ЛАПТЕВЫХЪ». У двери — чёрная грифельная доска, на ней мелом: «Хлеба — сколько есть. Не хватило — приходите завтра. Хлеб не убежит».

А в окне, на широком резном прилавке, лежал кот.

Огромный. Рыжий. Круглый, как каравай. С полосками на боках, похожими на надрезы на батоне.

Ася увеличила фотографию пальцами. Потом ещё. Кот на прилавке смотрел прямо в объектив — сонно, недовольно, свысока. Под фотографией какой-то турист написал: «Местная знаменитость. Говорят, ему сто лет. Говорят, он разговаривает. Нам ничего не сказал, только посмотрел так, что стало стыдно».

Ася перевела взгляд на старую фотографию. На мокрого котёнка в руках смеющейся девочки. Котёнок был тощий, и на чёрно-белом снимке нельзя было разобрать, какого он цвета. Но на боках у него — если присмотреться, если очень захотеть увидеть — шли светлые полоски.

Как надрезы на батоне.

— Ерунда, — сказала Ася вслух. — Коты столько не живут.

Часы без кукушки ответили ей сухим щелчком: пробило восемь. В коридоре за дверью загремела кастрюлями соседка Мельникова, та самая, которая покупала комнату для сына.

Телефон в руке снова пискнул. Ася всё-таки посмотрела.

«Уважаемый продавец! В связи с повторными нарушениями работа магазина "Кудель" приостановлена. Остатки товара на складе маркетплейса будут возвращены вам в течение 30 дней. Стоимость обратной логистики составит…»

Дальше Ася читать не стала.

Она положила телефон на пол. Посмотрела на коробку с письмами. На полотенце с колосьями. На бабушкину записку.

«Если когда совсем плохо станет».

Потом встала, открыла на телефоне сайт железной дороги и купила билет. На вечер того же дня. С двумя пересадками, в плацкарте, потому что на купе денег уже не было.

Перед уходом она закрыла бабушкину комнату на ключ. Спустилась на один пролёт. Постояла. Поднялась обратно, открыла, взяла «Зингер» за деревянную ручку — он весил, как маленький холодильник, — и потащила вниз по лестнице, на каждом повороте задевая перила.

Ключи она отдала маме вечером, на Московском вокзале, у табло. Мама примчалась с работы — в пальто нараспашку, с сумкой, полной квартальных отчётов.

— Куда тебя несёт? — спросила мама. — В какую Чухлому? Ты с ума сошла? У тебя кредит. У тебя склад. У тебя, в конце концов, этот… этот бизнес твой.

— Бизнеса нет, мам, — сказала Ася. — Закрыли сегодня.

Мама осеклась. Посмотрела на неё. Потом на «Зингер», стоявший у Асиных ног в деревянном чехле, как чемодан.

— А машинку-то зачем? — спросила она уже другим голосом. Тише.

— Не знаю, — честно сказала Ася. — Не смогла оставить.

Мама долго молчала. Объявили посадку. Люди с чемоданами потянулись на перрон.

— Бабка твоя, — сказала наконец мама, глядя куда-то мимо, на табло, — тоже всю жизнь про эту Чухлому. Как выпьет на Новый год рюмку наливки — так и начинает. «Поехать бы, Тома. Поехать». Я думала, это у неё от старости.

— А это не от старости, — сказала Ася.

— А от чего?

Ася пожала плечами. Взяла «Зингер». Пошла к вагону.

У двери вагона обернулась. Мама стояла на том же месте, у табло, в распахнутом пальто, с сумкой квартальных отчётов. Маленькая. Растерянная. Совсем не похожая на главного бухгалтера.

— Позвони, как доедешь! — крикнула она.

— Позвоню.

Позвонила Ася только через месяц. Но это было потом.

Глава 2. Поля?

Таксиста в Галиче звали Толик, и за пятьдесят километров до Чухломы он успел рассказать Асе всё.

Про то, что дорогу в этом году чистили два раза, а обещали пять. Про то, что зять у него в Москве работает охранником в торговом центре и получает больше, чем Толик за полгода, «а толку, всё равно в ипотеке, как в болоте». Про то, что лось на сорок втором километре прошлой зимой вышел прямо на «Ниву» главы района, и глава потом месяц ходил с перевязанной рукой и рассказывал, что упал на гололёде. Про то, что в Чухломе теперь, после той истории с пекарней, жизнь совсем другая.

— Раньше-то, — говорил Толик, лихо обходя фуру с лесом, — кто туда ездил? Никто. Монастырь посмотреть, и то раз в год. А теперь — туристы, кафе, гостевые дома. Москвичи дома скупают. Один, говорят, айтишник, купил избу на Затонной, сидит в ней с ноутбуком, интернет ему со спутника тянули. Кино снимать приезжали. Я сам двоих возил — режиссёр с оператором, всю дорогу спорили, кто Батона играть будет.

— Батона? — переспросила Ася.

— Кота ихнего, — сказал Толик. — Пекарного. Ты что, не знаешь? Да про него вся страна знает. — Он покосился на неё в зеркало. — Ты ж туда едешь? В пекарню?

— Туда.

— За хлебом? — Толик хмыкнул. — Хлеба не будет. Сейчас четыре часа, они к десяти утра всё распродают. Хозяйка строгая. Сколько напекла — столько и продала. Хоть ты из Владивостока приедь — не хватило, приходи завтра.

— Я не за хлебом.

Толик замолчал на целую минуту, что для него было, судя по всему, подвигом. Потом спросил осторожно:

— А за чем тогда? Если не секрет.

Ася посмотрела в окно. За окном стоял лес. Еловый, чёрный, бесконечный, заваленный снегом так, что нижние лапы елей лежали прямо на сугробах, как руки на подлокотниках. Небо было низкое, белое, ровное — ни солнца, ни облаков, одна сплошная простыня.

— Посылку везу, — сказала она. — Коту.

Толик поперхнулся. Потом засмеялся. Потом посмотрел на неё снова в зеркало, внимательно, — и перестал смеяться.

— Ну, — сказал он. — Ну, тогда понятно.

Что именно ему понятно, он объяснять не стал. Ася не стала спрашивать. Она уже начинала догадываться, что в этих краях так отвечают на всё, чего не понимают.

* * *

Чухлома вынырнула из леса внезапно, сразу целиком, как вырезанная из бумаги.

Сначала — колокольня. Потом — крыши, белые-белые, как пироги под сахарной пудрой. Дымки из труб — десятки, сотни дымков, прямых, неподвижных, как будто кто-то воткнул в город много-много серых ниток. А за крышами — пустота. Огромная, ровная, белая. Ася сначала подумала, что это поле. Потом увидела на белом крохотные тёмные точки — палатки, а возле палаток крохотных людей, — и поняла, что это озеро. Замёрзшее, засыпанное снегом, плоское, как стол. И далеко-далеко, на том краю этого стола, — белые стены и купола. Монастырь. Белое на белом. Его почти не было видно, он растворялся в снегу, как сахар в молоке.

— Галичское поменьше будет, — с гордостью сказал Толик. — А наше — во. Шесть вёрст в ширину. Мужики на подлёдный ходят. На ряпушку. Сейчас самый клёв.

Он высадил её на Советской, у старых торговых рядов. Помог вытащить из багажника «Зингер», крякнул, поставил на снег.

— Тебе туда, — показал он подбородком. — Красное здание. С вывеской. Не промахнёшься. — Помялся. — Слушай. Если кот и правда заговорит — ты мне потом скажи. А то я не верю. А жена верит. Двадцать лет спорим.

— Скажу, — пообещала Ася.

Толик уехал. Ася осталась на тротуаре с рюкзаком, сумкой и швейной машинкой.

Было тихо. Так тихо, как в Петербурге не бывает никогда, даже в три часа ночи, даже в бабушкиной комнате с толстыми стенами. Где-то за домами брехала собака. Где-то скрипел снег под чьими-то шагами. Где-то — далеко, над озером — ударил колокол, один раз, глухо и низко, и звук долго плыл над крышами, пока не растворился.

И пахло.

Ася втянула воздух. Дымом. Морозом. Берёзовыми дровами. И — откуда-то спереди, от красного кирпичного здания с полукруглыми окнами, — хлебом. Тёплым, кислым, ржаным. Хотя хлеба там, по словам Толика, не было с десяти утра.

Она подхватила «Зингер» и пошла на запах.

* * *

Дверь пекарни была не заперта.

Над ней звякнул колокольчик. Ася вошла, споткнулась о порог, чуть не уронила машинку, выругалась шёпотом — и замерла.

Зал был небольшой, но высокий. Под потолком — лепной карниз с колосьями и серпами. Стены — в белом кафеле с синей каймой, старинном, местами с трещинками, но отмытом до блеска. Пол — широкие крашеные доски. В полукруглых окнах — синие январские сумерки. И прилавок. Ася подошла к нему, не выпуская машинки, и провела пальцем по краю. Дуб. Резной. Колосья, виноградная лоза, маленькие птички с раскрытыми клювами. Работа такая тонкая, что хотелось взять лупу.

За прилавком, на табурете, сидел мужчина лет сорока и щёлкал калькулятором. Худой, светловолосый, коротко стриженный, в свитере грубой вязки и в очках для чтения на кончике носа. Перед ним лежала толстая амбарная книга, расчерченная от руки.

— Закрыто, — сказал он, не поднимая головы. — Хлеба нет. Приходите завтра к восьми. Лучше к семи сорока пяти, в субботу очередь.

— Я не за хлебом, — сказала Ася в третий раз за день.

Мужчина поднял голову. Посмотрел на неё поверх очков. Потом — на «Зингер».

— Если вы насчёт фотосессии — это к Варваре Андреевне, но она сейчас не принимает. Если насчёт съёмок — тоже к ней, и тоже не принимает. Если вы журналист…

— Я не журналист.

— Тогда кто?

Ася открыла рот. И поняла, что не знает, как это сказать. «Я привезла письма коту» — звучало так, что этот вежливый человек с калькулятором имел полное право вызвать полицию. Или скорую.

— Антон, кто там? — донеслось из глубины помещения. Женский голос. Усталый, хрипловатый, приглушённый — так говорят, когда боятся кого-то разбудить.

Из двери за прилавком вышла женщина. Невысокая, крепкая, со светлыми волосами, кое-как заколотыми на макушке. В растянутой домашней кофте, в которой было видно сразу три пятна — молочное, мучное и непонятное. На груди у неё, в слинге из пёстрой фланели, спал младенец. Совсем маленький, месяца два, не больше, в вязаной шапочке, с кулаком у щеки.

Женщина посмотрела на Асю. Глаза у неё были красные, как бывают красными глаза у людей, которые не спят по-человечески уже несколько месяцев. Но смотрели они цепко и внимательно, как смотрит хозяйка на человека, вошедшего на её кухню.

— Здравствуйте, — сказала она шёпотом. — Простите, у нас закрыто. Если хотите хлеба…

— Я не за хлебом, — сказала Ася. И, не придумав ничего лучше, расстегнула рюкзак и достала полотенце.

Она развернула его на прилавке. Льняное, серое, длинное. С красными колосьями по краю. Со снопом. С буквами «С.Л.» посередине.

Мужчина с калькулятором — Антон — снял очки.

Женщина со слингом медленно подошла к прилавку. Посмотрела на вышивку. Протянула руку и коснулась пальцами букв. Осторожно. Как трогают что-то, что может рассыпаться.

— Откуда это у вас? — спросила она. Голос у неё изменился.

— От бабушки, — сказала Ася. — А ей — от её бабушки. Её звали Пелагея. Поля. Она была… — Ася сглотнула. — Она, кажется, была сестрой Агриппины Лаптевой. Я нашла про Агриппину в интернете. Жена купца. Пекаря.

Женщина подняла на неё глаза.

— Агриппина — моя прапрабабушка, — сказала она тихо. — Я Варя. Лаптева. — И вдруг улыбнулась — растерянно, недоверчиво. — Матвей… Мой муж. Он в архиве что-то нашёл осенью, про Агриппинину сестру. Всё хотел рассказать, а тут Савва родился, и как-то…

Младенец в слинге закряхтел. Варя машинально покачалась на месте, вправо-влево, как маятник, и он затих.

— Это Савва, — сказала она. — Сын.

Ася кивнула. Она не очень понимала, что сейчас происходит. Голова гудела от двух пересадок, от плацкарта, от бессонной ночи и от тепла после мороза.

— Тут ещё письма, — сказала она. — Много. Она их писала. Всю жизнь. Только они… — Ася запнулась. — Они не вам. И не Агриппине.

— А кому?

Ася не успела ответить.

С дальнего края прилавка, из тёмного угла у окна, где Ася сначала увидела только кучу чего-то рыжего — то ли брошенную шапку, то ли свёрнутый плед, — раздался звук. Тяжёлый, мягкий, долгий. Как будто кто-то большой и тёплый вздохнул сквозь сон.

Куча шевельнулась.

Подняла голову.

Это был кот. Тот самый, с фотографии. Только живьём он был ещё больше — круглее, пушистее, рыжее. Шерсть — цвета хорошо пропечённой корки. На боках — светлые полосы. Морда широкая, щёки толстые, усы белые, длинные и жёсткие, как рыболовная леска. А глаза — Ася таких никогда у кошек не видела — янтарные, тёмные, с золотым ободком, и в них было что-то такое старое, что Асе стало не по себе.

Кот смотрел на неё. Не мигая.

Потом медленно, тяжело, как поднимается старик с кресла, встал на лапы. Шерсть на загривке поднялась. Хвост вытянулся трубой. Ноздри задвигались — часто-часто, как у собаки, которая взяла след.

Он пошёл по прилавку. Мимо амбарной книги. Мимо Антона, который на всякий случай отодвинул калькулятор. Прямо к полотенцу. Остановился над ним. Опустил морду. Долго нюхал красные колосья, сноп, буквы. Потом поднял голову и посмотрел на Асю.

Ася стояла не дыша. В зале было так тихо, что слышно было, как в слинге посапывает младенец.

— Поля? — сказал кот.

Голос был низкий, бархатный, хриплый от сна. И очень, очень тихий. Как будто кот боялся, что если скажет громче — ответ окажется не тем.

У Аси подогнулись колени. Она схватилась за прилавок обеими руками.

Кот шагнул к ней. Ещё ближе. Вытянул шею. Понюхал её руку — пальцы, костяшки, запястье. Понюхал рукав пуховика. Задержался на нём. Потом отступил назад.

— Нет, — сказал он. Уже громче, и голос стал другим, отчуждённым, с ленивой хрипотцой. — Не Поля. Пахнешь похоже. Ниткой вощёной. Утюгом горячим. Мелом портновским. — Он сел на прилавок и обвил лапы хвостом. — А не Поля. Поля пахла ещё снегом с Невы и ландышевым мылом. По три копейки кусок.

Ася смотрела на кота.

Кот смотрел на Асю.

— Вы… — сказала она. — Ты… Он разговаривает.

— Разговаривает, — подтвердила Варя рядом. Спокойно, как подтверждают, что на улице минус двенадцать. — Не со всеми. И не всегда. — Она смотрела на кота внимательно и тревожно. — Батон, ты три недели ни слова не сказал. Я уж думала…

— Думала она, — проворчал кот. Не глядя на Варю. Глядя на Асю. — Кто ты такая? Откуда у тебя Полино полотенце?

— Я правнучка, — выдавила Ася. — Нет. Праправнучка. Её дочка — Нина. Нинина дочка — бабушка Лида. Лидина дочка — мама. А я…

— Где она? — перебил кот.

— Кто?

— Поля. — Кот наклонил голову. — Она тебя прислала? Сама не смогла? Опять? — В голосе у него появилось что-то колючее. — Ну конечно. Сама не смогла. Как всегда. Сто двадцать лет «приеду, Батоныч, жди». Где она? В Питере? Хворает?

Ася смотрела на него и чувствовала, как к горлу подкатывает что-то горячее и горькое.

Он не знал.

Сто двадцать лет. Он ждал. И он не знал.

— Батон, — сказала она. Голос не слушался, пришлось начать снова. — Батон. Она умерла. В семьдесят шестом году. Пятьдесят с лишним лет назад.

Кот не шевельнулся.

Совсем. Ни усом, ни ухом, ни кончиком хвоста. Как будто его вылепили из рыжей глины и поставили на прилавок.

Младенец в слинге проснулся и захныкал. Варя качнулась, прижала его к себе, зашептала что-то, не сводя глаз с кота. Антон медленно, очень тихо закрыл амбарную книгу.

— А это, — сказала Ася и положила на прилавок жестяную коробку из-под монпансье, с облезлым котёнком на крышке, — это она тебе писала. Каждый год. Только не отправляла.

Кот посмотрел на коробку.

Долго.

Потом встал. Развернулся. И пошёл по прилавку обратно — медленно, тяжело, переваливаясь, — в свой тёмный угол у окна. Спрыгнул на подоконник. Сел спиной к залу. Лицом к стеклу. Туда, где за окном, в синих сумерках, лежало белое озеро, и на нём, на самом краю, едва угадывались белые стены.

— Не надо мне её писем, — сказал он, не оборачиваясь. — Обещала приехать — не приехала. Чего там читать.

И больше в тот вечер не сказал ни слова.

Глава 3. Та, что в деже

— Вам надо к ней, — сказала Варя. — Вниз.

Она сказала это так, как говорят «вам надо к врачу» или «вам надо поесть»: просто, без нажима, как о чём-то само собой разумеющемся. Сняла слинг вместе со спящим сыном и осторожно передала Антону. Антон принял младенца привычно, одной рукой, а другой продолжал придерживать амбарную книгу, как будто она тоже могла проснуться и заплакать.

— Помойте руки, — сказала Варя. — Там рукомойник. Мыло хозяйственное, другого она не любит.

— Кто — она?

— Увидите.

Ася мыла руки над эмалированной раковиной в тесной подсобке и думала, что, наверное, всё-таки сошла с ума. Тихо, незаметно, где-то между Вологдой и Галичем. Так бывает — она читала. Нервное истощение, недосып, стресс. Человеку начинает казаться, что с ним разговаривают коты. Потом — что с ним разговаривает вода в чайнике. Потом его забирают в больницу, и там он рассказывает санитарам про шестьсот двенадцать льняных платьев.

Дверь в подвал была дубовая, низкая, обитая железными полосами. Без замка. Только старая кованая петля, в которой когда-то, видимо, висел замок, а теперь торчал засунутый для красоты пучок сухой рябины.

Из-за двери тянуло теплом.

Ступеньки — каменные, стёртые посередине, вогнутые, как старые ложки. Ася считала их, спускаясь, чтобы не думать. Двенадцать. Внизу было сухо и тепло, как летом на чердаке. Сводчатый кирпичный потолок. Полки с хлебными формами — медными, чугунными, жестяными, — их было так много, что Ася бросила считать на третьей полке. Мешки с мукой у стены, аккуратные, как в армии. Огромная печь во всю дальнюю стену — тёмно-красная, широкая, с низким полукруглым зевом, и из-за чугунной заслонки сочился оранжевый свет. Печь тихонько потрескивала, остывая.

А посреди подвала, на невысоком деревянном помосте, стояла кадка.

Огромная. Дубовая, тёмная, стянутая коваными обручами. Ася таких никогда не видела — разве что в Этнографическом музее, за стеклом. Сверху кадка была накрыта холстом. Холст старый, застиранный, в двух местах заштопанный неумело, крупными стежками, а в третьем — просто дырявый.

Холст поднимался и опускался.

Мерно. Медленно. Как будто под ним кто-то дышал во сне.

Ася остановилась на последней ступеньке.

— Опара Саввишна, — тихо позвала Варя. — Не спите? К вам гостья.

Под холстом что-то вздохнуло. Глубоко, сочно, с присвистом. По подвалу поплыл запах — ржаной, кислый, тёплый, с медовой ноткой, — такой густой, что Ася почувствовала его не носом, а всем телом сразу, как чувствуешь горячую ванну.

— Гостья, — сказал голос из кадки. Певучий, грудной, с таким круглым северным «о», что каждое слово было похоже на баранку. — На ночь глядя гостья. Кто ж такая?

Холст сполз набок — сам, без рук.

И из кадки поднялась старушка.

Ася видела это потом много раз, и каждый раз — как первый. Тёмное ржаное тесто вспухало, поднималось над краем кадки, вытягивалось, округлялось, — и вот уже над дежой сидела, как в кресле, маленькая пышная бабушка с румяной корочкой на щеках, с носом-картошкой, с волосами из белой муки, собранными в пучок, и с глазами — двумя тёмными, блестящими изюминами.

Глаза-изюмины посмотрели на Асю. Сощурились.

Потом старушка втянула воздух. Громко, со вкусом, как втягивают запах пирога из духовки.

— Ох ты, — сказала она. — Ох ты ж. Нитка вощёная. Мел портновский. Утюг. — Глаза у неё округлились. — Полька? Полька, ты, что ль?

— Это не Поля, Опара Саввишна, — мягко сказала Варя. — Это её праправнучка. Ася.

— Ася, — повторила старушка из теста. Она разглядывала Асю долго и подробно, сверху вниз и снизу вверх, как разглядывают на базаре отрез ткани. — Ася. Ну-ка, подойди. Да не бойся ты, не укушу. Зубов-то нету, тесто я.

Ася подошла. Ноги были ватные.

Опара Саввишна протянула руку — пышную, мягкую, тёплую, с пальцами, похожими на маленькие сдобные булочки, — и коснулась Асиной щеки. Ася вздрогнула. Рука была живая. Влажная, чуть липкая, пахнущая кислым хлебом. И очень тёплая.

— Подбородок Полькин, — сказала Опара. — И брови. Брови точно Полькины, она так же их хмурила, когда иголку вдевала. — Она убрала руку. — А глаза не её. У Польки глаза смешливые были. А у тебя — уставшие. Ты когда спала-то последний раз, девка?

— Не помню, — честно сказала Ася.

— Вот и я вижу, что не помнишь. — Опара вздохнула, и от вздоха по подвалу снова прокатилась тёплая ржаная волна. — Батона видала?

— Видала.

— Говорил с тобой?

— Спросил, где Поля. — Ася запнулась. — Я сказала, что она умерла. Давно. Он ушёл на подоконник и не разговаривает.

Опара Саввишна долго молчала. Изюмины-глаза потускнели, будто их припорошило мукой.

— Ох, дурень рыжий, — сказала она наконец. Тихо, с бесконечной какой-то бабьей жалостью. — Ох, дурень. Сто двадцать лет. Я ему сколько раз говорила: Батоныч, люди-то не как мы с тобой. Люди-то помирают. А он — «обещала». Упёрся. — Она покачала головой. — Сядь, девка. Вон на мешок сядь. Расскажу.

Ася села на мешок с мукой. Варя прислонилась к печи, сложив руки на груди.

— Ты знаешь, кто я? — спросила Опара.

— Нет, — призналась Ася. — То есть… Я догадываюсь. Вы закваска?

— Закваска, — согласилась старушка. — Саввина. Он меня в Питере вывел, в подвале у Филиппова. В девятьсот восьмом году. Из своей шартановской, материнской, да из филипповской ржаной. Я тогда махонькая была. В глиняной корчаге жила, на полке над тестомесной. С кулак величиной. Пищала даже, не говорила. — Глаза-изюмины потеплели. — И была при Филиппове кошка. Мурка. Пекарская, серая, злющая. Окотилась в мае в мешках с отрубями. Пятерых принесла. Четверых — серых, в мать. А одного — рыжего. Толстого. Наглого. Он уже в три недели по всему подвалу шастал.

— Батон? — прошептала Ася.

— Он тогда ещё никакой не Батон был. Безымянный. — Опара фыркнула. — Залез ночью на полку. За мышью полез, говорит. Врёт, конечно, — за сметаной. Сметану на той полке держали. И оступился. И прямо в корчагу ко мне. Бултых. По самые уши.

Ася невольно улыбнулась.

— Савва утром пришёл, — продолжала Опара, — а в корчаге котёнок. Мокрый, весь в тесте, как пирожок. Орёт. Савва за шкирку его — и к двери. «Испортил, — говорит, — три месяца трудов, паразит». Хотел выбросить. И меня хотел выбросить. Вместе с ним. Думал — пропала закваска, раз в неё кошачья шерсть попала.

— А Поля?

— А Полька прибежала, как всегда, к семи. За калачами для мастерской. Она тогда в ученицах была, у модистки на Невском. Пятнадцать лет. Шустрая, как ртуть. И Савву, зятя, не боялась ни капли. — Опара засмеялась, и тесто у неё на плечах заколыхалось. — Как увидала — котёнка у него из рук выхватила. «Не дам, — кричит, — ироду!» И закваску тоже не дала выбросить. «Ты, — говорит, — Савва, с ума сошёл, три месяца трудов из-за одного котёнка псу под хвост?» И стала его отмывать. Котёнка. В тазу. Тёплой водой. А он, паршивец, вырывается, царапается, и всё тесто с себя слизывает. Языком. Всё до крошечки. Меня, значит. Меня слизывает.

— И что?

— А то, — сказала Опара Саввишна. — Наутро он заговорил.

Ася смотрела на неё.

— Первое слово, — сказала Опара, — знаешь, какое было?

— Какое?

— «Ещё». — Старушка из теста захохотала так, что холст окончательно сполз с дежи на пол. — Полька ему сметаны в блюдце налила, он вылакал, посмотрел на неё — и говорит: «Ещё». Она чуть в обморок не упала. А потом ничего, привыкла. Батоном назвала. Говорит — круглый, рыжий и с полосками, как филипповский батон, вылитый. Таскала его везде. В мастерскую с собой брала, в корзинке под лоскутами. Модистка её чуть не выгнала.

Варя у печи улыбалась, хотя глаза у неё оставались тревожными. Видимо, этой истории она тоже раньше не слышала.

— А потом Савва в Чухлому собрался, — сказала Опара. — Насовсем. С Агриппиной, с детьми. И со мной. А Полька — ей восемнадцать, у неё мастерская, у неё работа, у неё Питер. Она не поехала. Батона отдала. Сама. На вокзале. «Он, — говорит, — хлебный кот, Савва. Ему при хлебе надо. А у меня что — нитки да иголки». И Батону в ухо: «Жди, Батоныч. Летом приеду». — Опара вздохнула. — Она и приезжала. Летом двенадцатого. Летом тринадцатого. А потом война. Германская. Потом революция. Потом всё.

— И больше не приехала, — сказала Ася.

— Больше — нет.

В подвале было тихо. Только печь потрескивала, остывая.

— Он ждал, — сказала Опара Саввишна. — Каждое лето ждал. Потом каждый год. Потом — каждый день. Сто двадцать лет почти. Он Саввиных ждал — дождался. Вот её, — она кивнула на Варю, — дождался. Сказал ей «хорошо». В первый раз за столько лет. — Изюмины потемнели. — А как сказал — так и начал… гаснуть. С осени спит и спит. Не ест почти. Не разговаривает. Андрей, ветеринар наш, смотрел — говорит, всё в порядке, просто старый. А я-то знаю.

— Что знаете? — спросила Ася. Хотя уже догадывалась.

Опара посмотрела на неё. Прямо. Без улыбки.

— Кот пекарный, дочка, живёт, пока ждёт, — сказала она. — Пока есть кого. Вот он Варю дождался — и одного ожидания у него не стало. Осталось одно. Полькино. А ты ему сегодня сказала, что и ждать больше некого.

Ася зажала рот ладонью.

— Я не знала, — сказала она сквозь пальцы. — Я не знала, господи. Я не хотела…

— Знаю, что не хотела, — сказала Опара. Мягко. — Ты не виновата. Ему бы всё равно сказать пришлось. Не ты — так время. А письма-то ты привезла. Полькины.

— Он не хочет их слушать.

— Мало ли чего он не хочет, — проворчала Опара. — Он и мыться не хочет, а Варя его по субботам щёткой чешет. — Она поглядела на Асю хитро, одним глазом. — Ты читай. Вслух. Вечером. Там, наверху, в зале. Будто не ему, а так, себе. Он сделает вид, что спит. А уши-то у него не заткнёшь. Уши у него — во какие.

— А если не поможет?

Опара Саввишна вздохнула.

— А если не поможет, — сказала она, — значит, хоть узнает, почему она не приехала. Это тоже надо знать. Сто двадцать лет обиду носить — тяжело, дочка. Даже коту.

Она медленно, с кряхтением, начала опускаться в дежу. Тесто оседало, растекалось, разглаживалось. Последними под поверхность ушли глаза-изюмины.

— Холст накинь, — донеслось уже из глубины. — Дырявый он. Дует.

Ася подняла холст с пола. Встряхнула. Посмотрела на дырку — большую, с бахромой, с растрёпанными краями. На неумелые штопки — крупные, неровные, через край, нитками разного цвета.

— Это кто штопал? — спросила она у Вари.

— Я, — виновато сказала Варя. — Ну и Матвей. Мы не умеем.

Ася расправила холст на деже. Аккуратно, разгладив складки ладонью. Посмотрела на него ещё раз — взглядом, которым двенадцать лет смотрела на ткань.

— Я умею, — сказала она.

* * *

Ночевать её Варя отвела к тёте Гале.

Тётя Галя оказалась маленькой, круглой, очень громкой старушкой в шерстяных носках, с лицом румяным, как будто её только что вынули из печи вместе с караваем. Гостевой дом у неё был большой, бревенчатый, с пристройками, верандами и мезонином, с геранью на всех подоконниках и с котом Барсиком, который, в отличие от Батона, не разговаривал, но смотрел так выразительно, что слова были не нужны.

Тётя Галя открыла дверь, посмотрела на Асю, на «Зингер», на рюкзак — и, не здороваясь, сказала:

— Питерская.

— Как вы узнали?

— По лицу, — объяснила тётя Галя. — У московских лицо злое, а у питерских — несчастное. Заходи. Щи будешь? С грибами. Я Батону утром носила, он нос отвернул, первый раз в жизни. Ох, не к добру это. Садись. Ешь. Рассказывай. Варька сказала, ты Полькина?

Ася не успела ответить ни на один вопрос. Тётя Галя ставила на стол щи, хлеб, сметану, солёные рыжики, пирог с рыбой, и говорила, не останавливаясь, — про Батона, про Варю, про маленького Савву, который не спит по ночам, «весь в отца, тот тоже по ночам в архивах сидит», про Опару Саввишну, про ветеринара Андрея, про зятя тёти Гали, которого у неё не было, но который, если бы был, обязательно бы пил.

Ася ела щи. Они были горячие, густые, пахли белыми грибами и лавровым листом. Она не ела по-человечески, кажется, с ноября.

На середине тарелки она заплакала.

Тётя Галя замолчала. Впервые за вечер. Подошла. Встала рядом, маленькая, круглая, в шерстяных носках. Положила руку Асе на голову. Тяжёлую, тёплую, пахнущую тестом и луком.

— Ешь, — сказала она тихо. — Плачь и ешь. Одно другому не мешает.

Ночью Ася лежала в маленькой комнате под самой крышей, на высокой кровати с тремя подушками, и слушала, как трещат от мороза брёвна. Жестяная коробка стояла на тумбочке. Девочка в капоре держала на крышке белого котёнка.

Ася так и не открыла её в ту ночь.

Она заснула. Впервые за полгода — сразу, как будто провалилась. И спала двенадцать часов. Без снов.

Глава 4. Холсты

Проснулась Ася в третьем часу дня от того, что на неё кто-то смотрел.

Барсик сидел на соседней подушке и разглядывал её в упор, с выражением санитарного инспектора. Убедившись, что она жива, он встал, потянулся, демонстративно повернулся задом и ушёл. За окном было ослепительно бело и солнечно. Снег на крыше напротив искрился так, что резало глаза. По небу — впервые за много дней, Ася уже забыла, как это бывает, — плыло настоящее голубое небо.

На кухне тётя Галя чистила картошку и смотрела по телевизору сериал про следователя, который вслух комментировала.

— Встала! — обрадовалась она, не отрываясь от экрана. — Двенадцать часов дрыхла, я заходила, слушала — дышишь. Ну и правильно. Это у нас воздух такой. Москвичи приезжают — первые три дня спят, как медведи. Я их будить не велю. Ешь. Блины на плите. Сметана в сенях. — Она ткнула ножом в экран. — Вот этот убил. Я сразу поняла. У него уши подлые.

Ася ела блины и чувствовала, как внутри что-то медленно, со скрипом, как ржавый ключ в замке, поворачивается обратно.

— Тётя Галя, — сказала она. — А у вас льна нету? Ткани. Неважно какой, хоть старой. Метров пять. Мне бы холст для Опары сшить. И… ещё кое-что.

Тётя Галя выключила телевизор. Убийца с подлыми ушами так и остался неразоблачённым.

— Льна? — переспросила она. И посмотрела на Асю с каким-то новым выражением. — Пойдём.

Она провела её в дальнюю комнату, холодную, нежилую, где пахло яблоками и мышами. В углу под вышитой салфеткой стоял сундук. Деревянный, зелёный, с коваными углами и с картинкой на крышке: синие цветы, а между цветами — птица с девичьей головой.

— Мамин, — сказала тётя Галя, поднимая тяжёлую крышку. — Приданое. Она на льнозаводе всю жизнь работала, с сорок седьмого года. Ткачихой. И себе наткала. На простыни, на полотенца, на рубашки. — Тётя Галя вздохнула. — Да так и не сшила. Всё берегла. «На потом, Галька. На особый случай». А особого случая так и не случилось. Шестьдесят лет лежит.

В сундуке лежали рулоны. Серые, сурового льна, домотканые, плотные. Ася опустилась на колени. Потрогала. Пальцы сами узнали плетение — ровное, полотняное, нитка к нитке, без узелков. Ткачиха была мастер. Настоящий.

— Это же… — сказала Ася. — Тётя Галя, это же сокровище. Это сейчас нигде не купишь. Такое руками больше никто не ткёт.

— Сокровище, — фыркнула тётя Галя. — Мыши его жрут, твоё сокровище. Бери. Сколько надо — бери. Мать бы не обиделась. Для Опары-то. Для Опары — это и есть особый случай.

* * *

В пекарне было тихо. Дверь — открыта, колокольчик звякнул, но никто не вышел.

За прилавком, на том же табурете, на котором вчера сидел Антон, сидел высокий сутулый мужчина лет сорока с небольшим, со светлой бородой и в очках в тонкой оправе. Свитер на нём был серый, с вывязанными оленями, — Ася такие видела только в каталогах скандинавской одежды и в фильмах про Рождество. На руках у мужчины спал Варин сын, в той самой пёстрой фланелевой перевязи. А сам мужчина, держа младенца одной рукой, другой осторожно, двумя пальцами, перелистывал толстую папку с пожелтевшими бумагами.

Он поднял голову. Увидел Асю.

И лицо у него сделалось такое, какое бывает у ребёнка, которому пообещали показать живого слона.

— Вы Ася! — сказал он громким шёпотом. — Вы Полина праправнучка! Здравствуйте! Я Матвей. Ремизов. Варин муж. Директор музея. Краеведческого. Местного. — Он попытался встать, чтобы пожать ей руку, вспомнил про младенца, сел обратно, протянул руку сидя, задел локтем папку, папка поехала по прилавку, Ася успела её поймать. — Простите. Варя спит. Первый раз за двое суток. Я её наверх отправил, а сам с Саввой. Он у нас днём спит, а ночью — ни в какую. Как филин. — Матвей поправил очки. — Вы не представляете, как я вас ждал.

— Меня? — удивилась Ася. — Вы же меня не знали.

— Не вас. Вообще. Кого-нибудь от Пелагеи Ивановны. — Он раскрыл папку. — Смотрите. Я это осенью нашёл. В метрических книгах Воскресенской церкви. Тысяча девятьсот тринадцатый год. Крестины младшей Саввиной дочки. Крёстная — «девица Пелагея Иванова Синицына, мещанка города С.-Петербурга». Значит, она тут была. Летом. А потом я стал искать дальше — и нашёл ещё вот это.

Он вытащил из папки фотографию. Небольшую, мутную, сделанную, видимо, бродячим фотографом на ярмарке. На фоне торговых рядов — тех самых, Ася видела их вчера из такси — стояли двое. Девушка в светлом платье и соломенной шляпке, с косой через плечо. Ася узнала её сразу — по смеху. Смеялась девушка точно так же, как на фотографии с котёнком: во весь рот, неприлично и счастливо. А рядом с ней стоял парень. Здоровенный, широкоплечий, на голову выше, в картузе набекрень и в рубахе-косоворотке. Он не смеялся. Он смотрел на девушку. Так смотрел, что было понятно всё — и через сто с лишним лет, и на мутном снимке.

На обороте было написано карандашом: «Яша и Поля. Ильинская. 1913».

— Это мой прадед, — сказал Матвей. — Яков Ремизов. Он у Саввы потом подмастерьем стал. Рыжий, как Батон. — Матвей помолчал. — Я с детства знал, что у него была какая-то… история. Бабушка рассказывала: прадед всю жизнь в Галиче на хлебозаводе проработал, женат был, детей трое, всё как у людей. А на столе под стеклом всю жизнь держал засушенный василёк. Синий. Никому не объяснял. А когда прабабка спрашивала — отмалчивался.

Ася смотрела на фотографию. На девушку в соломенной шляпке. На шляпке — Ася присмотрелась — был приколот цветок. Маленький. Тёмный на серой фотографии.

Может быть, синий.

— Я осенью Варе хотел рассказать, — сказал Матвей. — Что мой прадед и её прапрабабкина сестра, кажется… — Он покраснел, как подросток. — Ну, вы понимаете. А тут Савва родился. И как-то стало не до этого. — Он улыбнулся. — Вот теперь вы приехали. Значит, пора.

* * *

Андрей-ветеринар пришёл в четыре. Высокий, крупный, бородатый, с огромными руками, похожий скорее на лесоруба, чем на ветеринара. На поводке у него был рыжий лохматый пёс, похожий на медведя, — пёс сел у порога и вежливо стал ждать, глядя на подоконник, где спиной к залу сидел Батон.

Батон с утра не сдвинулся. Тётя Галя приносила ему щи — он не повернул головы. Матвей ставил на подоконник блюдце со сметаной — сметана стояла нетронутая, подёрнутая плёнкой.

Андрей осмотрел кота. Послушал сердце, заглянул в уши, в пасть, пощупал живот. Батон всё это вытерпел с видом мученика, которого ведут на костёр, но который выше того, чтобы сопротивляться.

— Ну что? — спросил Матвей.

— Да ничего, — пожал плечами Андрей. — Сердце нормальное. Лёгкие чистые. Зубы — я бы такие себе хотел. Немножко обезвожен, надо пить. — Он почесал бороду. — Просто старый. Сколько ему, напомни?

— Сто двадцать с лишним, — сказал Матвей.

Андрей помолчал.

— Тогда, — сказал он задумчиво, — он в отличной форме. Для своих лет.

Батон на подоконнике коротко, презрительно фыркнул. И это было первое, что он издал за сутки.

* * *

Ася поставила «Зингер» в задней комнате, бывшей конторе, где теперь стояли стол, полка с амбарными книгами и детская кроватка, которой маленький Савва, судя по всему, принципиально не пользовался.

Машинка была тяжёлая, старая, ручная — крутить надо было колесо справа. Ася не шила на ручной лет пятнадцать, с тех пор как бабушка учила её на этом самом «Зингере» обмётывать петли. Сначала пальцы путались, нитка рвалась, строчка шла криво. Потом — вспомнили. Рука закрутила колесо ровно, без рывков. Машинка застрекотала. Звук был тот самый, бабушкин: как кузнечик в траве. Ася на секунду закрыла глаза.

Первым она сшила холст для Опары.

Двойной, из тётиного-Галиного сурового льна, с подогнутыми краями, с прострочкой по всему периметру, чтобы не сползал. Чуть больше по размеру, чем старый, чтобы ложился на край дежи свободно. Ася мерила дежу портновским сантиметром, а Опара Саввишна из-под старого, дырявого холста ворчала: «Щекотно, девка. Ох, щекотно». Но не прогоняла.

Когда новый холст лёг на дежу — ровно, мягко, без единой складки, — под ним долго было тихо. Потом раздался вздох. Длинный, блаженный, на весь подвал.

— Ох-х-х, — сказала Опара Саввишна. — Ох ты ж. Как пуховым платком укрыли. — Тесто под холстом повозилось, устраиваясь поудобнее. — И пахнет… Ох, девка. Галиной матерью пахнет. Нюркой. Я её помню, она к нам за хлебом бегала, когда я ещё в подвале одна сидела, под замком. Вставала у окошка и нюхала. И тобой пахнет. Полькой.

Ася ничего не ответила. Пошла наверх, к машинке.

Потом она сшила фартук. Для Вари. Длинный, до щиколоток, с широкими лямками крест-накрест на спине, чтобы не давило на шею, — Ася вчера заметила, как Варя то и дело трёт шею под старой завязкой. С большим карманом на животе, глубоким, чтобы в нём помещались и полотенце, и соска, и телефон. С петелькой на боку для прихватки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.